



Гершензон и Замятин.

(Современные литературные настроения).

Революция закончила свой быстрый, стремительный порыв, приняла иные чем раньше формы.

В этом порыве у ней нашлось достаточно сил, чтобы на своем творческом пути снести материальные и идеологические препятствия. Но революции не удалось организовать жизнь так, как хотелось бы ее авангарду—пролетариату. Отдельные позиции оставлены, чтобы преодолеть врага не в открытых атаках, а в упорной, может быть, медленной, стратегической, окопной войне.

Поверхность революционного океана становится, как будто, тиха и гладка, и только внизу ходят широкие волны борющихся страстей враждебных сторон.

А старое, когда-то господствовавшее над жизнью, уже поднимает голову, медленно вылезает из своих потаенных убежищ. Когда в грозе и бури металась ослепительная молния, а удары грома наводили ужас, старое молчало, укрывалось в свою раковину. А теперь, когда гроза прошла все, выползает на свет, расправляет свои члены, песя в жизнь свой старый быт, свою идеологию, свою мораль,—словом, всю ту плесень, которая заполняла и отравляла жизнь в прошлом.

Литература, критика, публицистика всегда отражали общественное настроение и борьбу, особенно у нас, в российских условиях. И теперь борьба старого с новым уже в достаточной мере оказывается в различных журналах, сборниках и альманахах. Революционная мысль не должна проходить мимо ее. Наоборот, надо зорко следить, учитывать и ставить старому свои преграды, путем беспощадной критики и разоблачения буржуазной сущности прошлого, хотя бы и в современном одеянии.

Перед нами альманах „Северные дни“. В нем замечательная, симптоматическая статья гр. М. Гершензона: „Человек, пожелавший счастья“. Статья, как будто, далекая от действительности наших дней, чисто литературная, отвлеченная; но если всмотреться и вдуматься в нее, станет ясным, как она актуальна, как старая-престарая идеология буржуа-мещанина, прикрывшегося литературным плащем, вдвигается в жизнь. И надо сказать—вдвигается талантливо, умело, а это обязывает нас к большей бдительности. Тем более, что сам автор с первых же строк подчеркивает: „наше дело, разочтя масштаб, узпавать в Макбете, Отелло, Гамлете—себя, в тигантских вещах—ежедневность“. Себя мы в этих тинах не

находим, но „ежедневность“ прошлого, пробивающуюся сквозь диктатуру пролетариата, мы видим ясно. Никаких колебаний на этот счет у нас нет.

Первый тезис гр. М. Гершензона выдвигает положение: „активно искать счастья, значит желать своевольно улучшить свое положение в мире; так Макбет хочет из ханов стать королем. Но улучшить свое положение в мире, не улучшая ни мира, ни самого себя, значит только механически передвинуть вещи по отношению к себе; таков точный смысл слов: „желать счастья“. Может ли удастся такая попытка?“

Ответ, естественно, отрицательный. Не удастся.

Нам нет необходимости вскрывать в приведенных рассуждениях ту великую идеологическую путаницу, которая свойственна идеалистической идеологии, столь чуждой и враждебной революции, и столь характерной и близкой гр. М. Гершензону. Мы не будем тревожить ни кенигсбергского мудреца Канта, ни Л. Толстого, ни Маркса, ни Каутского, чтобы разбираться в вопросе о взаимоотношениях человека и мира, чтобы доказывать, что не усовершенствование человека ведет к совершенству мира, а как раз наоборот. Мы хотели бы обратить внимание читателя всего только на два слова, вставленных в ряд предложений. Слов весьма значительных, хотя и тусклых.

М. Гершензон уверяет, что „активно искать счастья, значит желать своевольно улучшить свое положение в мире“. Своевольно... Весьма характерно это заявление. В мире нет своеволия, все идет по определенным законам развития, через которые история, как она ни могучи, перескочить не в силах. Мы, марксисты, знаем законы о развитии производительных сил, которые определяют нашу жизнь и наши идеологические надстройки, как их основа, фундамент. Сам М. Гершензон знает, что есть в мире особое духовное начало, которое мы не признаем, но которое для автора статьи обязательно, и которое по его верованиям управляет всем миром, всеми идеями, всеми людьми и всеми вещами в мире.

Зачем же понадобилось это слово „своевольно“.

Для доказательства, что в мире есть люди, группы, классы, которые, не считаясь ни с духовным началом, ни с материальным, с грязной душой, и даже без мысли очистить ее, напролом всем стихиям хотят ухватить счастье, поймать „синюю птицу“. И они, конечно, остаются побежденными. Таков был когда-то Макбет, а теперь, в нашей „ежедневности“ таков—пролетариат.

Ослепленный и оглушенный действительностью, Гершензон забыл одно очень маленько обстоятельство, что пролетариат выступил на историческую сцену не „своевольно“, а издавна уже призванный историей, и выступил, как владыка жизни, после длинной подготовки,—экономической, политической и культурной, пройдя ряд тяжелых поражений и принеся много очистительных жертв.

И мы осмеливаемся думать, что это хорошо известно гр. Гершензону: он ведь человек образованный, но он обошел это молчанием и уже вполне „своевольно“, чтобы не нарушать стройности своих измышлений.

Утвердив истину о „своеволии“, автор, развивая свои прогнозы, выдвигает на идеологическую сцену другую истину. Именно,—он

утверждает, что те, кто не улучшает ни мира, ни самого себя, механически передвигает вещи по отношению к себе". Механически—это второе слово, которое остановило на себе наше внимание. Во-первых, нам хочется подчеркнуть, что гр. Гершензон спутал причину и следствие. Ему все кажется, что надо улучшить мир и самих себя, чтобы передвинуть вещи. Мы же убеждены, что надо передвинуть вещи, чтобы улучшить мир и в нем самих себя. Мы всегда исходим из положения: бытие определяет сознание. Гершензон стремится ненавистное ему положение, ненавистное идеологически и политически, передвинуть, чтобы оправдать свою общественную группу, и с научным видом брюзжать на революцию и пролетариат. Во-вторых, механически не только не передвигаются вещи в мире, но механически не возникают и самые мысли, желания о перемещении вещей. Они возникают по убеждению марксистов по одним причинам, по убеждению идеалистов по другим, по неизбежно по определенным причинам. Зачем понадобилось автору расстраивать свое стройное идеалистическое мировоззрение? Неужели опять ради стройности своей статьи? Но это ведь значит тащить аргументацию за уши.

Нить суждений гр. М. Гершензона весьма своеобразна, но мы не намерены ее распутывать до конца, чтобы не наскутить нашему читателю и задача наша другая. Переходим к заключительным мыслям статьи.

Доказав, что Макбет — пролетариат „своевольно“ и „механически“ захотел передвинуть в мире вещи, т.-е. незаконно начал свою революцию, М. Гершензон ставит вопрос: виновен ли Макбет? И тотчас отвечает: „разве он пожелал дурного? Его мечта о престоле была мечтою о божеском совершенстве; он искал не царского венца, а высшей формы бытия, того живого покоя, когда бы мог, беспрепятственно внедряясь, все воспринимать, насколько то доступно человеку... Макбет виновен только в нетерпении, но разве торопливость в благом деле не должна быть прощена? Он был лучше нас, потому что любил Бога до того, что не хотел жить иначе, как в Боге. Поэтому не осуждайте его, но, опустив глаза, пройдите мимо: его место свято“. Так великодушно снисходителен автор к Макбету и столько готовности у него принять на себя вину, что умиление охватывает наше сердце, но вместе с ним зарождается сомнение в искренности этих суждений. Гр. М. Гершензон знает, что его слова ни для кого необязательны. За ним стоит „Владычица“.

„Среди напряженной тишины“ раздается ее голос: „двух преступлений я не должна терпеть: нерадения и нетерпения, ибо моя жизнь—ваша жизнь—есть неустанное и уравновешенное движение, в целом тот живой покой, который вы жаждете для себя. Он захотел до времени передвинуть вещи в отношении себя и так упрочить; он захотел ради себя одного остановить все движение мира; но если бы эта попытка удалась ему или какому-либо другому созданию хоть на миг,—жизнь в то же мгновение угасла бы на век; планеты сорвались бы со своих орбит и всякое дыхание задохнулось бы. Поэтому, самый замысел его был преступен“.

Голос „Владычицы“ так решителен и тверд, что не имеет

язык гр. Гершензона. Он молчит и несомненно доволен, что окончательный суровый приговор несет „ежедневности“, якобы, не он, а „Владычица“.

Во всем этом пассаже интересен не приговор: „замысел его был преступен“. Это мы слыхали много - много раз с того дня, как поднялся вопрос о диктатуре пролетариата. Интересны угрозы, что если бы Макбету или кому-либо другому удалось найти счастье, „жизнь в то же мгновение угасла бы на век“. Если бы пролетариату удалось организовать коммунистическое общество, то „всякое дыхание задохнулось бы“ в ту же минуту.

„Суд кончился, и вся тварь разбрелась по своим местам—в пустыни, леса и степи. Только человек, уже в сумерках вечера, стряхнув раздумье, пошел с просветленным лицом в свое жилище и рассказал своим детям историю Макбета, завещав им из рода в род передавать память его преступления и наказания“. Так кончает свою статью М. Гершензон.

Он не сокрушается о жестоком приговоре, — наоборот, он просветлел и рассказывает своим буржуазным детям под видом сказания о Макбете о наших днях, искажая действительность через призму своей мещанской идеологии.

Что касается пролетариата, ему не нужны слова участия Гершензонов, не страшны ему и громы „Владычицы“. Пролетариат свой путь знает, знает он и его трудности.

Не признает пролетариат себя и виновным. Он улыбнется над приговором старого мира, наблюдая как он беспомощно бараждается в фатальной для всей буржуазной философии противоположности бытия и сознания.

Старый мир беспомощен в своей абстракции, и его абстрактное „бытие“ пустое и бессодержательное, без живого смысла, понятие философии. Абстрактное „мышление“ тоже не имеет реальной силы. Поэтому, перед буржуазной идеологией встают вопросы о „своеволии“ и „механическом“ передвижении вещей в мире.

В пролетарской философии разрешение основного вопроса о свободе и необходимости достигается не в познании, да еще абстрактном, взятом отдельно, а в товарищеском, коллективном и вполне сознательном творчестве, изменяющем мир закономерно и планомерно. Для пролетарского способа познания и действия „произвол“ исключается путем технической закономерности превращения причины в следствие, а „механичность“ тем, что причина и следствие связаны живой активностью коллектива; и для этой живой активности причина и следствие суть только отдельные моменты развития.

Оставляя в стороне двусмысленное суждение о „живом покое“, мы, хотя бы мимоходом, считаем необходимым подчеркнуть, что буржуазия, достойным сыном которой является гр. Гершензон, не всегда думала и писала об „уравновешенном движении“ жизни. Давно, в дни своей молодости, когда на ее знамени горели великие слова: свобода, братство и равенство, буржуазия не только признавала, но и проповедывала катастрофические теории. На склоне своих дней, как отдельные люди, так и, очевидно, классы становятся „умнее“, и „глупые“ теории о катастрофах и скачках заменяют „солидными“ трактатами о „живом покое“ и о „уравновешенном движении“.

Но как стари все суждения Гершензона. Как много и как давно об этом писалось. И неужели публицистике придется заново перебирать этот идеологический мусор.

Суждения гр. М. Гершензона подкрепляются другим автором сборника Ю. Айхенвальдом. Как и Гершензон, Айхенвальд доказывает, что дух первоначален, материя производна, что материализм—цинизм, что сознание определяет бытие и что „бессмертная пошлость“ человечества заключается в том, что человек состоит из двух начал: телесного и духовного, из которых каждое мешает развитию другого.

Скитаясь по темным лабиринтам своего мышления, автор гордо утверждает себя, как монисты-спиритуалисты. Он верит, что „сквозь всякую телесность брезжит дух“, что у человека „ромеевой искры взять обратно нельзя, но при своей монистичности он убежден, что „самый мир от мировоззрения не зависит“. „И какой бы броней материалистического или спиритуалистического монизма ни пытались мы прикрыть себя от обидной для нас обективности, — она сохраняет свою силу, т.-е. свою горькую силу сохраняет первосущная пошлость человека. Реально победить ее нельзя“. Это, конечно, не совсем то, что мысли Гершензона. Глубокий пессимизм овладевает нами от речей Айхенвальда,— положение безвыходно. Пошлость извечна и нет сил преодолеть ее. У Гершензона же есть „Владычница“, которая судит и восстанавливает потревоженные в мире вещи на свои места.

Общее между ними определяется не только органической враждой к материалистическим системам философии, но, самое главное—неумением не только изменить мир, но и познать его. Пути и средства, рекомендуемые ими, целиком продиктованы бытием капиталистического общества с его „таинственными“ силами: рынком, конкуренцией и кризисами; их средства приемлемы для индивидуалистического мышления и индивидуалистических форм познания и обобщения опыта. Пролетариат же вырабатывает свои, новые, коллективистические формы познания и воздействия на мир. Средства же Айхенвальда для него еще менее приемлемы, чем угрозы Гершензона, через которые он уже смело перешагнул, призванный к тому исторической необходимостью.

Мы остановились на указанных статьях бегло. Наша цель — не повторение марксистских истин и не полемика — у нас одно желание показать как скоро и какая старая, обывательская идеология лезет из недр буржуазной интеллигенции, фанатически отстаивающей старое свое мировоззрение.

Обо всем этом мы молчали бы, если бы не видели, что действительность создает подходящую питательную среду для буржуазных микробов, для заразы, для эпидемии.

Но зараза пускает корни дальше. Она из области теории уже перебросилась в художественное творчество.

Перед нами другой сборник, под названием „Петербургский сборник“, изданный петроградским „Домом Литераторов“, которые, очевидно, с ним вполне солидарны.

Первый рассказ в этом сборнике принадлежит гр. Е. Замятину. И странное, счастливое сочетание. Что Гершензону мешалось в отвлеченных категориях и суждениях, то перед Замятином встало, облечено в живой художественный образ.

И как ни странно, самый путь развития образа у Замятиня совпадает с порядком логических суждений Гершензона. Что значит принадлежать к одному идеологическому лагерю!

Гершензон носится мыслью с „образами прошлого“, он возводит свои „пропитли“ и, естественно, что он сосредоточил свои размышления над действительностью, возле Макбета.

Замятин—художник, писатель, претворяющий жизнь в легенду. Он взял Ивана, не старого, сказочного Ивана Дурака, а Ивана современного.

Иван ни с того ни с сего возгорел „своеволием“ и возмечтал „механически“ передвинуть в мире вещи.

Макбет, задумавший сесть на шотландский престол, убивает Бланко, Дункана. Иван убивает у моста купца и кучера, забирает деньги и строит на них новую, светлую церковь, выше и краше Ивана Великого.

Макбет не нашел успокоения, душа его переполнена тяжелыми мучениями. Иван, очевидно, в силу своего простого происхождения, мучений душевных не переживает, но он, как и Макбет, своей цели не достиг.

Церковь выстроена. Назвал Иван архиереев, попов, дьяконов, народу видимо-невидимо, началась служба и вдруг смятение. Сначала архиерей попросил удалить старушек, полагая, что они вообразили себя на лежанке у себя дома. Но не в них была причина. Все разбежались от смрадного запаха человеческими трупами. Как ни кадили дьякона, никак нельзя было заглушить запаха человеческой мертвчины. Взглянул архиерей глубоко в нутро Ивана, и оставил его одного недоуменного и беспомощного.

Вывод каков из этой сказки? Хотел Иван народу счастья, новый храм построить, но взялся за дело „своевольно“, и „механически“ переложил деньги из одного кармана в другой, из купеческого в свой, и вся затея рушилась. Такой зловонный дух пошел, что все разбежались, а если-б не разбежались, то „всякое дыхание задохнулось бы“.

А кто же этот Иван, стоящий с разинутым ртом в новом храме, выстроенному на купеческие деньги,—в храме, из которого все бегут, потому что зловоние идет?

Всем ясно: Иван—это революционный пролетариат; купец с деньгами—это наша буржуазия. Церковь—это коммунистическое общество. И если в церкви пахнет человеческими трупами и стоять в ней нельзя, то и коммунистическое общество таково, что если-бы кому-либо удалось осуществить его—„жизнь в то же мгновение угасла бы на век; планеты сорвались бы со своих орбит и всякое дыхание задохнулось бы“.

Замысел Макбета был преступен.

Понятно, замысел Ивана тоже преступен.

Отвлеченные, литературные размышления одного совпали со сказочными мечтаниями другого. И оба они, хотя и в разных формах, повторили то, что мы слышали много раз.

И Гершензон и Замятин выдвигают и другой серьезный вопрос нашего времени,—вопрос о насилии. Старый мир кричит

об ужасах революции, как будто бы он в дни своей молодости не рубил голов королям, не ставил на площади гильотины, не наполнял тюрьмы, как будто он не расстреливал коммунаров 71 года и не надругался над их трупами.

И мы скажем откровенно, что глупцы были бы те революционеры, которые, с наивным обывательским видом, ведя разговоры о терроре, благодушно позволяли бы устраивать заговоры и восстания белогвардейцам и эс-эрам.

Это понимали в свое время буржуа, хорошо знаем это и мы. По этому поводу тов. Л. Троцкий написал прекрасную брошюру: „Тerrorизм и коммунизм“. А кто не любит читать коммунистических писаний, пусть перелистает странички А. Франса „Боги жаждут“. Там много поучительного о „трупном запахе“.

Мы не говорим уже о том, сколько в этом вопросе лжи, нравственного притворства.

Мы прекрасно сознаем, что ни Гершензоны, ни Замятину нам не опасны: колесо истории повернуть назад нельзя. „Купца“, которого убил Иван, не воскресишь, а „церковь“ проветрится. Напрасно автор скрыл одну деталь, что купец вез деньги на грабленные у Ивана, у многих Иванов. Иль Замятину сильно жаль было купчика, и хотелось побольше слез о нем вышибить у причитальщиц и плакальщиц старого общества. Но не в этом дело.

Подобные „художественные“ вещи—пародийные и явно контр-революционные—хотя и не страшны, тем не менее сознание некоторых они будут отравлять; они будут мешать строительству новой „церкви“, которая действительно будет ярче, красивее, торжественнее самого Ивана Великого.

Свежая, молодая, здоровая критическая мысль в союзе с революционным художественным образом должна притти на помощь Ивану. Он позвал попов—это была ошибка. Они из враждебного лагеря—лагеря Гершензонов и Айхенвальдов. Нужны другие люди, которые ждали и творили революцию, которые ею рождены, которые понимают ее сущность и движение, которые принимают ее не из за куска хлеба, а органически.

Все свежее и здоровое—на первые линии в борьбу с поднимающимся старым!

Валерян Полянский.

